

ПЯТЕРИЦА

ЦИКЛ ИЗ ПЯТИ КНИГ · КНИГА ЧЕТВЁРТАЯ

ПАЛАЧ БОЖИЙ

ИСПОВЕДЬ ПАЛАЧА

Забвение милосердия суда

РОМАН

АЛЕКСАНДР ЖАРКОВ

МОСКВА · 2026

Александр Жарков

Палач Божий

<https://litres.ru/74679923>

SelfPub; 2026

Аннотация

Аркадий Тихонов — лучший исполнитель Канцелярии литургической безопасности. Двадцать два года он вычёркивает людей из реальности по расписанию: без суда, без крови, без памяти. Пока однажды в расписании не появляется девятилетний Кирилл — мальчик, который видит истинные имена людей и ангелов. Впервые Аркадий отказывается вычеркнуть имя. Теперь Канцелярия охотится на него самого, а единственный способ остаться человеком — защитить того, кого ему приказано вычеркнуть. Четвёртый роман цикла «Пятерица».

Содержание

Пролог. Четыре семнадцать	4
Глава 1. Тихий час	13
Глава 2. Очередь	24
Интерлюдия. Дело № 0417	37
Глава 3. Индекс	45
Глава 4. Отказ	55
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Александр Жарков

Палач Божий

«И сказал Свидетель: Я не сужу. Я помню». Пятое Евангелие. Список не ранее семнадцатого века. Хранится в частном собрании. Считается утраченным.

«Имя, изъятое из книги живых, да не взыщется». Из служебной формулы Канцелярии литургической безопасности. Год введения — 1979.

Пролог. Четыре семнадцать

В подвале Канцелярии нет часов. Это не случайность. Часы здесь заменяет расписание, а расписание составляет человек, который никогда не опаздывает.

Мои стоят на четырёх семнадцати. Двадцать два года.

Они маленькие. Женские, сказали бы в мастерской, если бы кто-то стал рассматривать. Красный ремешок я заменил на чёрный, длинный, сшитый по руке у часовщика на Таганке. Часовщик спросил, не детские ли это. Я сказал: память. Он кивнул и сделал. В Москве не любят задавать второй вопрос. Это одно из немногих, что мне здесь нравится.

Циферблат величиной с пятак. Стрелки тонкие, как во-

лос. Стекло поцарапано в одном месте — там, где я однажды провёл ногтем и не смог стереть.

Я спустился в половине четвёртого. На мне был серый свитер, чёрные брюки и ботинки, которые не скрипят. В Канцелярии не любят скрипа. Скрип запоминают.

По лестнице я шёл пешком. Лифт здесь есть, но он не останавливается на четвёртом этаже, если в тебе нет имени. Во мне его нет. Я привык считать ступени. Двадцать три от третьего до четвёртого, девятнадцать от второго до третьего, двадцать одна от первого до второго. Я насчитал их столько раз, что они уже не ступени, а цифры в отчёте.

В комнате для исполнений было тепло. Там всегда тепло: если человеку холодно, он начинает думать, что его жалеют. На столе горела лампа с зелёным абажуром. Рядом стояли чайник и две кружки. Одну я поставил перед ним. Вторую оставил себе.

Его звали Пётр Ильич Савельев. Сорок шесть лет. Учитель физики. Жена написала заявление в четверг. В заявлении было три слова, которые я запомнил: «Помогите нам, пожалуйста».

Он сидел на стуле, положив руки на колени. Пальцы у него были длинные, как у пианиста, и немного дрожали. На левой руке не хватало обручального кольца. След от него остался — светлая полоска.

— Чай, — сказал я. — Пейте.

Он посмотрел на кружку, потом на меня.

— Вы меня убьёте?

— Нет.

— Жаль.

Я сел напротив. Стул подо мной скрипнул, и я пожалел, что не взял другой.

— Почему жаль?

— Потому что тогда это было бы просто, — сказал он. — Убили, и всё. А вы сделаете что-то другое. Я не знаю что. Это хуже.

Он был прав. Я не стал говорить, что он прав. Я вообще редко говорю людям, что они правы. От этого им становится легче, а мне потом труднее.

— Расскажите, что вы видите, — сказал я.

— Вы не верите.

— Я не спрашивал, верю ли я.

Он взял кружку. Пальцы обхватили её так, будто он грелся не чаем, а самой керамикой.

— Я вижу имена, — сказал он. — Не как на бумаге. Как таблички. У всех на груди табличка. У кого-то большая, у кого-то маленькая. У кого-то совсем нет.

— Когда это началось?

— В сентябре. Я упал в школе. С лестницы. Ударился головой. Врач сказал, сотрясение. Через неделю прошло. А имена остались.

— Вы кому-нибудь говорили?

— Жене. Она заплакала. Потом отвела меня к врачу. Врач

сказал, что это последствия. Я принимал таблетки. От них было тихо. Я перестал их принимать.

— Почему?

— Потому что в тишине я не видел имён. А без имён я не понимал, кто передо мной.

Он говорил спокойно, как на уроке. Объяснял. Я знал этот тон. Так говорят люди, которые уже решили, что их не поймут, и заранее прощают собеседника.

— Что вы сделали? — спросил я.

— Ничего. Я никому не мешал. Я просто смотрел. Один раз в метро я увидел женщину. У неё на груди было имя, а под ним — другое, стёртое. Я сказал ей: «Извините, у вас два имени». Она заплакала. Я больше не говорил.

— А потом?

— Потом пришли вы.

Он посмотрел на меня. Взгляд у него был внимательный, без страха. Учителя так смотрят на ученика, который врёт про домашнее задание.

— У вас на груди табличка, — сказал он. — «Аркадий». А под ней пусто. Как будто имя есть, а человека нет.

— Я знаю.

— Вам не страшно?

— Страшно.

— Почему вы тогда здесь?

Я мог сказать: потому что мне некуда идти. Потому что я делаю это двадцать два года. Потому что если не я, то кто-

то другой, и он будет хуже. Всё это было правдой. Но правда — это не ответ.

— Потому что я умею, — сказал я.

Он кивнул. Кажется, этого было достаточно.

— Что со мной будет?

— Вы забудете.

— Что?

— Не вы. Вы будете помнить. Забудут другие.

Он молчал. За стеной шумела вода в трубах. В подвале Канцелярии всегда шумит вода, даже когда её нет.

— Жена? — спросил он.

— Да.

— Собака?

Я не ожидал этого вопроса.

— Не знаю, — сказал я. — Собаки — не люди. Они не читают реестр.

— У нас есть Бублик, — сказал он. — Маленький. Глупый. Он меня любит.

Он сказал это без пафоса. Просто сообщил факт, как сообщают температуру на улице.

— Пейте чай, — сказал я.

Он выпил. Я взял у него кружку и поставил на стол. Потом достал из внутреннего кармана листок. На листке было его имя, написанное моей рукой. Я всегда пишу имена сам. Так меньше ошибок.

Бумага была плотная, с водяным знаком — гербовая,

из старых запасов. Канцелярия не экономит на бумаге для имён. Экономит на всём остальном.

— Пётр Ильич, — сказал я. — Закройте глаза.

Он закрыл.

— Не надо, — сказал он вдруг. — Я хочу видеть.

— Хорошо.

Я прочитал формулу. Она короткая. В ней нет ничего страшного, если не знать, что она делает. Три слова из книги, три из устава, одно имя. Я произнёс его точно, как учили. Голос у меня низкий; на записи он звучит как чужой. Когда я говорю имена, люди иногда оборачиваются. Не потому что им страшно. Потому что им кажется, что их позвали.

Когда я закончил, в комнате ничего не изменилось. Лампа горела. Чайник остывал. Пётр Ильич сидел на стуле и смотрел на меня.

— Всё? — спросил он.

— Всё.

— Я ничего не почувствовал.

— Никто не чувствует.

Он встал. Постоял, покачиваясь. Потом посмотрел на свои руки.

— Я помню, — сказал он. — Я всё помню.

— Это хорошо.

— Это не хорошо. Это единственное, что у меня осталось.

Я открыл дверь. В коридоре сидела его жена. Она была в пуховике, расстёгнутом до половины, и держала поводок.

На поводке сидел маленький белый пёс с коричневым ухом.
Бублик.

— Вы закончили? — спросила она.

— Да.

Она встала. Пётр Ильич вышел следом за мной. Она посмотрела на него. Потом на меня. Потом опять на него.

— Вы кто? — спросила она.

— Лена, — сказал он. — Это я.

Она нахмурилась. Не испугалась, не заплакала. Просто нахмурилась, как человек, который пытается вспомнить, где оставил ключи.

— Извините, — сказала она. — Я вас не знаю.

Пётр Ильич молчал. Он не двинулся с места.

— Это недоразумение, — сказал я. — Вам показалось.

— Мне показалось, — повторила она. — Да. Наверное.

Она взяла поводок и пошла к лестнице. Бублик не пошёл. Он упёрся лапами в пол и смотрел на Петра Ильича. Потом рванулся и лизнул ему руку.

— Бублик! — сказала женщина. — Пойдём.

Пёс не шёл. Он смотрел на хозяина и тихо скулил. Женщина дёрнула поводок. Пёс заскользил по линолеуму, но голову не отвернул. На поводке осталась белая шерсть. Я видел, как она медленно опустилась на пол.

Она ушла. Дверь на лестницу закрылась. Пётр Ильич стоял в коридоре и смотрел на закрытую дверь.

— Собака помнит, — сказал он.

— Да.

— Это хорошо.

Он сказал это так же спокойно, как раньше. Потом повернулся и пошёл в свою комнату. Я знал, куда он идёт. В подвале Канцелярии есть комната для тех, кому некуда идти. Там есть кровать, стол и окно под потолком. Окно не открывается. За окном — стена.

Я достал из кармана фотографию. Она была старая, помятая по углам. На ней стояли Лида и Миша. Лида в синем платье, с короткой стрижкой, какой она стриглась в двадцать пять. Миша в футболке с поездом. Ему тогда было семь.

Лица были смазаны. Не размыты, как на плохом снимке, а именно смазаны — будто кто-то провёл по ним пальцем, когда краска ещё не высохла. Я знаю, что это не брак. Это я. Всё, на что я смотрю слишком долго, теряет резкость. Люди, предметы, лица. Кроме часов. Часы у меня на руке всегда чёткие.

Я убрал фотографию в карман и поднялся вверх.

В приёмной на столе лежал конверт. Новый, белый, с типографским номером в углу. Я не открыл его. Я знал, что внутри. Я всегда знаю, что внутри, когда конверт такой тонкий.

Я сел на стул и стал ждать утра. Стул был жёсткий. На стене висела инструкция по пожарной безопасности, напечатанная в две тысячи двенадцатом году. На четвёртой странице кто-то когда-то нарисовал ручкой кота. Кот был стёрт,

но остался след — контур, как тень на обоях.

В приёмной пахло бумажной пылью и чужим одеколоном. За перегородкой спала Гусь, женщина с седой чёлкой, бывший библиотекарь. Она говорила во сне: «Вы записаны». Это была её единственная фраза, которую я слышал за двадцать два года.

* * *

В четыре семнадцать я проснулся. Я всегда просыпаюсь в четыре семнадцать. Не по будильнику. Будильник у меня не звонит.

Я лежал в комнате при Канцелярии и смотрел в потолок. За стеной кто-то кашлял. В трубах шумела вода. На столе лежал конверт.

Я знал, что в нём. Я знал, что не открою его до утра. Я знал, что утром открою.

Так это и работает. Не с людьми. С нами.

Глава 1. Тихий час

«Не суди — и не будешь судим. Не помни — и не будешь помянут». Надпись на стене архива Канцелярии. Автор неизвестен.

Канцелярия литургической безопасности находится под Никольской улицей. Если идти от Красной площади в сторону Лубянки, надо свернуть во двор, где стоит бывшая типография, и найти чёрную дверь с латунной табличкой: «Библиотека № 17. Вход по записи». Записи не существует. Библиотеки тоже.

Внутри пахнет типографской краской и мокрой шерстью. Краска осталась от прежних хозяев. Шерсть — от нас. Зимой в Канцелярии холодно, а пальто здесь не снимают. Пальто — это единственное, что человек может унести с собой.

Я работаю здесь двадцать два года. У меня есть комната на втором этаже, стол в общем зале и допуск к реестру. Ещё у меня есть часы, которые стоят, и имя, которого нет. Этого достаточно.

Устройство Канцелярии простое, и в этой простоте есть свой умысел. На первом этаже — приёмная, где сидит женщина по фамилии Гусь. Она бывший библиотекарь. У неё седая чёлка и привычка проверять билет, которого ни у кого нет. Она говорит: «Вы записаны». Это значит: проходите.

Рядом с приёмной — стол находок. Там лежат вещи, которые забыли люди, выходящие из здания. Один перчаток. Детская шапка. Очки с треснувшим стеклом. Зонт. Никто не приходит за ними. Я однажды спросил Гусь, куда деваются вещи. Она сказала: «В архив». Я спросил, зачем. Она посмотрела на меня поверх очков и сказала: «Затем, что вещь помнит».

На втором этаже — общий зал. Там стоят длинные столы, за которыми работают пономари. Пономари — не монахи. Это сотрудники. Молодые люди в серых костюмах, с гладкими лицами и одинаковыми папками. У них есть имена, но их никто не запоминает. Я пробовал. Я записывал их на бумаге, а бумага утром была пустой.

Не потому что они колдуны. Потому что так устроена работа. Канцелярия — это место, где люди перестают быть людьми не по злобе, а по должности. Через год ты уже не помнишь, что у тебя был сосед.

В общем зале висит доска служебного соответствия. На ней двенадцать фотографий сотрудников. Лица на фотографиях одинаковые, как на образце документа. Под фотографиями — не фамилии, а номера столов. Двенадцатый стол пустой. Фотографии нет. Рамка есть. В ней — белая бумага.

Я спрашивал, кто сидит за двенадцатым столом. Мне ответили: «Никто». Я спросил, почему тогда рамка. Мне ответили: «Потому что стол есть».

На третьем этаже — кабинет Феофана. Епископ Фео-

фан, Всеволод Ильич Балашов. Глава Канцелярии. Он носит гражданский костюм, серый, всегда один и тот же, и пахнет одеколоном «Шипр». На груди у него епископский крест, но он его не показывает. Крест лежит под пиджаком, как оружие.

В подвале — комната для исполнений и архив. Архив — это не картотека. Картотека на четвёртом этаже, в зале реестра, куда допуск есть у немногих. В архиве хранятся папки. В папках — люди. Только те, кого вычеркнули. Их документы, фотографии, письма, иногда вещи. Вещи пахнут.

Алгоритм называется «Тихий час». Не потому что тихо. Потому что после него становится тихо.

Он не судит. Он составляет расписание. Каждое утро на стол Феофана ложится распечатка: кто сегодня должен быть изъят, кем, в какое время. В распечатке есть графа «основание». Там обычно написано одно слово: «щель».

Щель — это человек, через которого реальность протекает. Одни видят то, чего нет. Другие видят то, что есть, но не должно быть видно. Третьи просто родились не в том месте и не в том имени. Канцелярия считает, что щели надо заделывать. Не убивать. Забывать.

Я — лучший исполнитель. Не потому что я сильный. Главное — я сам щель. Меня вычеркнули в две тысячи четвёртом. С тех пор я невидим для алгоритма. Он не видит меня в расписании: меня нет в реестре. Он не может меня забыть, потому что забывать нечего.

Это удобно. Это ужасно. Это моя работа.

* * *

Утром я пришёл к Феофану. Он сидел за столом и пил чай из стакана с подстаканником. На столе лежала распечатка. Рядом — коробка конфет «Алёнка».

— Садись, — сказал он.

Я сел.

— Вчерашний? — спросил он.

— Савельев.

— Как он?

— Живой.

— Это не то, что я спросил.

— Он в порядке. Насколько может быть в порядке человек, которого только что забыли.

Феофан кивнул. Он не любил слово «забыли». Он говорил «изъяли».

— Ты читал приказ?

— Нет.

— Почему?

— Я ждал утра.

— Ты всегда ждёшь утра.

— Да.

— Зачем?

Не ответил. Он знал зачем. Утро — это время, когда можно ещё что-то решить. Ночь — это время, когда всё уже решено.

Феофан достал из ящика конверт и подтолкнул его ко мне. Я открыл. Внутри была фотография и два листа. На фотографии — мальчик лет девяти. Светлые волосы, куртка с капюшоном, в руках — игрушечный поезд. Он улыбался не в камеру, а кому-то за кадром.

Я смотрел на фотографию дольше, чем следовало. Лицо мальчика начало смазываться. Я отвернулся.

— Ветров Кирилл Павлович, — сказал Феофан. — Девять лет. Школа № 1234. Мать — Ветрова Мария Сергеевна, тридцать один год, инженер метрополитена. Отец — Ветров Павел, вычеркнут в две тысячи восемнадцатом.

— За что?

— За то же, за что всех. Он видел.

Я прочитал первый лист. Там было описание. Мальчик видит истинные имена ангелов. Он видит их как таблички с должностями на невидимых машинах. Он говорит о них: «ангел девятого стола», «ангел, который отвечает за очередь», «ангел, который спит». Потом мальчик нарисовал схему. Схема попала в Канцелярию.

— Прогноз? — спросил я.

— Девять дней, — сказал Феофан. — Через девять дней он назовёт вакансию.

— Он ребёнок.

— Возраст не основание.

— Он не одержим.

— Он видит.

— Все дети видят.

— Не всех замечает алгоритм.

Я положил лист. За окном шёл снег. Март в Москве — это не весна. Это зима, которая устала, но не уходит.

— Что значит «назовёт вакансию»? — спросил я.

Феофан отставил стакан. Он делал так, когда собирался говорить серьёзно. Стакан всегда ставил на подстаканник, ровно, как в аптеке.

— Ты знаешь, что такое реестр?

— Картотека.

— Не только. Реестр — это список всех имён, по которым реальность находит людей. Если имени нет — человек есть, но его никто не помнит. Если имя есть — человек есть для всех. В реестре есть ящики. В ящиках — карточки. На карточках — имена. И есть один ящик, в котором карточка без имени.

— Бог.

— Мы называем это вакансией, — сказал Феофан. — Не потому что мы неверующие. Потому что мы честные. Мы не знаем, что писать на этой карточке. Мы оставили её пустой.

— И мальчик может её прочитать?

— Он может её назвать. Если он назовёт вакансию вслух, реестр перезагрузится. Не спрашивай меня, что это значит. Я не знаю. Я знаю только, что после этого город вспомнит себя. Весь. Сразу.

Он помолчал.

— Ты представляешь, что будет, если Москва вспомнит себя?

Я представил. Не всё. Достаточно.

— А если его вычеркнуть?

— Он забудет. Все забудут. Он будет жить.

— Это милосердие?

— Это канцелярия, — сказал Феофан.

Он взял со стола конфету и повертел её в пальцах. Не развернул. Просто повертел. Конфета была старая, обёртка помятая. Он всегда брал одну и ту же и никогда не ел.

— Ты справишься, — сказал он. — Ты всегда справляешься.

— Я не уверен.

— Я уверен.

Он посмотрел на меня. У него были глаза человека, который давно перестал спать и научился этому не удивляться. Под глазами лежали тени, ровные, как подчёркивание в документе.

— Аркадий. Ты знаешь, почему я посылаю тебя?

— Потому что я лучший.

— Потому что ты не помнишь, — сказал он. — Ты не помнишь, как это — когда тебя помнят. Это делает тебя точным.

Я встал.

— Приказ я возьму, — сказал я. — Но не сегодня.

— У тебя девять дней.

— Я знаю.

— Не тяни.

— Я не тяну.

Он улыбнулся. Улыбка у него была как у доктора, который знает, что пациент врёт про боль.

— Иди, — сказал он. — И зайди к Алексею. Ты давно не был.

Я не спросил, откуда он знает. Он всегда знал.

* * *

Храм Трёх Свидетелей стоит в Замоскворечье, между Пятницкой и Балчугом. Я пришёл туда в пятницу, к вечеру. Шёл мокрый снег. На Пятницкой пахло кофе и мокрой собакой. В кофейне у метро работала девушка с разноцветными ногтями; она насыпала в мой стакан слишком много сахара. Я не стал говорить. Сахар — это единственное, что я иногда позволяю себе не контролировать.

В храме было тепло. Пахло воском и пылью. У иконы Трёх Свидетелей горела лампада. На скамье сидел кот. Чёрно-белый, с одним зелёным глазом и одним жёлтым. Он посмотрел на меня и не ушёл.

— Здравствуй, Ересь, — сказал я.

Кот моргнул. Я знал, что он меня помнит. Не знаю, как. Может быть, коты не читают реестр. Может быть, у них свой.

Исповедальня стояла в левом приделе. Я сел на скамью для кающихся. За решёткой было тихо. Потом шорох.

— Я слушаю, — сказал Алексей.

— Это Аркадий.

— Я знаю. Ты приходишь раз в месяц. Иногда раз в два.

— Я был занят.

— Я не сомневаюсь.

Он говорил спокойно, без укора. Алексей вообще не умел укорять. Это было хуже.

— Батюшка, я хочу исповедоваться.

— Хорошо. Говори.

Я начал с того, что умел. С числа.

— Я вычеркнул сорок восемь человек. За двадцать два года. Сорок четыре мужчины, одна женщина и трое детей. Вчера ночью — сорок восьмой. Пётр Ильич Савельев, учитель физики. Он видел имена. Он не сделал ничего плохого.

— Дальше.

— Двое из них были больны. Один — старик, восемьдесят три года, он не понимал, где находится. Одна женщина — она видела своего мужа, которого вычеркнули в две тысячи пятнадцатом. Она говорила с ним на кухне. Соседи вызвали врача. Врач вызвал нас.

— Дальше.

— Трое были детьми.

Тишина за решёткой стала другой. Не пустой, а плотной.

— Сколько?

— Трое. Два мальчика и девочка. Мальчикам было по двенадцать. Девочке — девять.

— Ты помнишь их имена?

— Да.

— Назови.

— Никита. Артём. Оля.

Я назвал. Три имени, негромко, по одному. За решёткой молчали. Потом Алексей сказал:

— Ты не каешься.

— Я исповедуюсь.

— Нет. Ты отчитываешься.

Я замолчал. Он был прав. Я всегда знал, что он прав, и всё равно приходил.

— Ты приходишь сюда раз в месяц, — сказал он. — Ты садишься на эту скамью и перечисляешь. Как будто сдаёшь отчёт. Как будто я — начальник, а ты — сотрудник. Ты не просишь прощения. Ты просишь, чтобы я принял документ.

— Может быть.

— Не может быть. Я слышу. У меня левое ухо звенит, когда человек говорит правду. Сейчас не звенит.

Я посмотрел на решётку. За ней блеснуло стекло очков. Левое стекло у Алексея треснуло ещё в прошлом году. Он не менял его. Говорил, что привык.

— Что мне делать? — спросил я.

— Для начала — назвать своё имя.

— Я назвал.

— Ты назвал чужие имена. Своё ты не назвал.

— У меня его нет.

— Есть. Ты просто боишься, что тебя услышат.

Он был прав и в этом. Я боялся не Бога. Я боялся, что за

решёткой, кроме Алексея, кто-то есть. Что кто-то слушает. Что моё имя — это адрес, по которому придут.

— В следующий раз, — сказал Алексей.

— Что?

— В следующий раз принеси имя. Своё.

— У меня его нет.

— Тогда принеси чужое. То, которое ты не можешь забыть.

Я встал. Кот сидел у выхода и смотрел на меня. Когда я проходил, он поднял хвост и потёрся о мою ногу. Я не стал его гладить. Я боялся, что он тоже забудет.

На улице шёл снег. Я достал телефон. На экране было сообщение от Феофана: «Фотографию верни. Копию не делай».

Копию я не сделал. Я стоял на Пятницкой и думал о мальчике с игрушечным поездом.

В кармане была фотография. Я знал, о каком имени говорил Алексей. Оно смазано.

Я пошёл домой. Домой — это в Канцелярию.

Глава 2. Очередь

«Очередь — это форма милосердия. Она даёт человеку время привыкнуть к учреждению». Из памятки для сотрудников Канцелярии. Пункт 1.

В Канцелярии не говорят «смертники». Говорят «очередь». В очереди на сегодня стояли четверо. Я знал их имена ещё с вечера, потому что расписание печатается ночью, а я всегда просыпаюсь в четыре семнадцать.

Форма 4-Щ лежала у меня в папке. В ней было семь граф: имя, год рождения, основание, место, время, исполнитель, свидетель. Графа «свидетель» не заполняется. Внизу мелким шрифтом: «Акт составляется в двух экземплярах. Первый — в дело. Второй — уничтожается».

Второй экземпляр уничтожается всегда. Я никогда не спрашивал, зачем его тогда составляют. В Канцелярии на такие вопросы отвечают: «Потому что форма».

В девять сорок привели первого. Григорий Павлович Мельник, пятьдесят восемь лет, инженер-строитель. Основание: «щель». В графе «примечание» стояло: «Видит числа над людьми. Считать не может, но называет точно».

Он вошёл сам. Конвой в Канцелярии не держат: человека ведёт пономарь, а пономаря не замечают. Мельник был в куртке, вязаной шапке и ботинках не по погоде — лёгких,

осенних. Наверное, вышел утром и не думал, что вернётся.

— Садитесь, — сказал я. — Чай будете?

— Буду, — сказал он. — С сахаром.

Я налил. Он взял кружку обеими руками и стал смотреть на неё, как смотрят на огонь.

— Вы знаете, зачем вы здесь? — спросил я.

— Знаю. — Он поднял голову. — Мне сказали, что я вижу числа. Это правда.

— Какие числа?

— Даты. Над каждым человеком — дата. Не смерти. Последнего дня, когда его будут помнить. У кого-то завтра. У кого-то через сорок лет. У детей — длинные. У стариков — короткие.

— И у вас?

Он усмехнулся.

— У меня пусто. Не число. Прочерк.

— Что это значит?

— Не знаю. — Он отпил чай. — Может, я уже кончился. Может, меня уже нет.

Я посмотрел на его карточку. В графе «основание» было написано «щель», а ниже, от руки, чьим-то аккуратным почерком: «Социально опасен. Пугает соседей».

— Вы пугали соседей?

— Я сказал женщине из шестой квартиры, что её мужу осталось два дня. Он умер через два дня. Она написала заявление.

— Вы знали?

— Я видел дату. Я не знал, что она значит. — Он поставил кружку. — Я думал, это подарок. Я думал, я могу предупредить.

— Вы предупредили?

— Один раз. Мужчине в очереди в поликлинике. У него было три часа. Он побил меня.

Он сказал это спокойно. Потом посмотрел на меня внимательно, как Савельев. У них у всех был этот взгляд — людей, которые уже перестали бояться и начали изучать.

— А у вас какая дата? — спросил он.

— У меня нет.

— Совсем?

— Совсем.

— Тогда вы счастливый, — сказал он. — Вам нечего ждать.

Я прочитал формулу. Он не закрыл глаза. Он смотрел на меня, и в его взгляде не было ни страха, ни укора. Только любопытство. Когда я закончил, он сказал:

— Всё?

— Всё.

— Я ничего не почувствовал.

— Никто не чувствует.

— А что теперь?

— Теперь вас отведут в комнату. Там можно поспать. Утром вас выпустят.

— Куда?

— На улицу.

— А домой?

Я не ответил. Он понял сам. Он был инженером; он умел читать схемы.

— У меня дочь, — сказал он. — Она замужем. Живёт в Химках. У неё сын, мой внук. Ему пять.

— Я знаю.

— Она забудет?

— Да.

— И внук?

— Он ещё маленький. Он забудет быстрее.

Мельник кивнул. Потом достал из кармана очки, протёр их о рукав и надел. Очки были с толстыми линзами. В них его глаза казались больше, чем были.

— Можно я не буду спать? — спросил он. — Я хочу посмотреть в окно.

— Там стена.

— Я знаю. Я хочу посмотреть.

Его увели. Я дописал акт. В графе «свидетель» поставил прочерк. Потом закрыл папку и посмотрел на часы. Они стояли на четырёх семнадцати.

* * *

В одиннадцать десять привели вторую. Ольга Петровна Вязникова, сорок четыре года, кассир в супермаркете. Основание: «щель». Примечание: «Разговаривает с изъятым су-

пругом. Соседи вызвали бригаду».

Она вошла и сразу сказала:

— Здравствуйте. Можно, я сяду?

— Садитесь.

— У вас тут тепло.

— Тепло.

— А муж где?

Я посмотрел на пустой стул у стены. Стул был обычный, с металлическими ножками, с потёртой обивкой. На него никто не садился.

— Он здесь? — спросила она.

— Здесь.

— Он молчит?

— Молчит.

Она кивнула. Потом достала из сумки термос и два пластиковых стаканчика.

— Мы всегда пьём чай в это время, — сказала она. — Он любит с молоком. У вас есть молоко?

— Нет.

— Ничего. Он и без молока пьёт.

Она налила два стакана. Один поставила на пустой стул. Второй взяла сама. Я сидел напротив и смотрел, как она пьёт чай с человеком, которого нет.

— Вы его видите? — спросила она.

— Нет.

— А он говорит, что вы его видите.

— Он ошибается.

— Он не ошибается. — Она посмотрела на стул. — Он говорит, что вы — тот, кто его забрал.

Я не ответил. В комнате было тепло. За стеной шумела вода. Она допила чай и вытерла губы салфеткой. Потом посмотрела на меня.

— Вы будете меня вычёркивать?

— Да.

— А его?

— Он уже вычеркнут.

— Я знаю. — Она улыбнулась. — Я одна его помню. Поэтому он и приходит.

— Почему вы его помните?

— Потому что я его люблю. — Она сказала это просто, как сообщают, что идёт снег. — Это же не запрещено?

— Нет.

— Тогда почему вы меня забираете?

— Потому что вас видят соседи.

— Соседи видят меня и без него. — Она покачала головой. — Они видят, как я выношу мусор. Как я хожу в магазин. Как я разговариваю с мужем. Им не нравится, что я разговариваю с мужем.

— Они вызвали врача.

— Они вызвали не врача. Они вызвали вас.

Я прочитал формулу. Она закрыла глаза. Потом открыла и посмотрела на пустой стул.

— Он исчез, — сказала она.

— Да.

— Совсем?

— Совсем.

— Он сказал что-нибудь?

— Нет.

— Он не мог, — сказала она. — Он всегда молчал, когда боялся.

Её увели. Я посидел ещё минуту. Потом взял пластиковый стаканчик со стула и выбросил в урну. Стаканчик был тёплый. Я вымыл руки и вернулся к столу.

В графе «свидетель» я поставил прочерк.

* * *

Третьего привели в два часа. Его звали Рустам Ильдарович Сафин, двадцать семь лет, курьер. Основание: «повторное изъятие». Примечание: «Возвращён памятью матери. Рецидив».

Я знал, что это значит. Такое бывает. Человека вычеркнули, а кто-то продолжает его помнить. Не так, как собака. Собака помнит запах. Мать помнит имя. И тогда карточка возвращается. Не вся. Уголок. Тень.

Он сидел на стуле и улыбался. У него было худое лицо и ссадина на подбородке. Он был в куртке с логотипом службы доставки, и на груди у него висел телефон.

— Вы меня уже вычёркивали, — сказал он.

— Да.

— В две тысячи двадцать первом. Я тогда работал в такси.

— Да.

— Я помню.

— Вы не должны помнить.

— Я знаю. — Он пожал плечами. — Мама помнит. Она каждый день говорит моё имя. Утром и вечером. Как молитву.

— Она знает, что вы здесь?

— Нет. Я ей не сказал. Она бы пришла.

— Она бы не смогла.

— Я знаю. — Он посмотрел на меня. — Вы её тоже вычеркнете?

— Нет.

— Почему?

— Потому что она не щель. Она просто мать.

— Это не одно и то же?

Я не ответил.

Он снял телефон с груди и положил на стол.

— Можно я позвоню?

— Нет.

— Одну минуту.

— Нет.

Он кивнул. Потом посмотрел на телефон. На экране горела фотография: женщина в платке, с двумя вёдрами. Она улыбалась.

— Она думает, что я в рейсе, — сказал он. — Я всегда

в рейсе.

— Я знаю.

— Вы хороший человек?

— Нет.

— Плохой?

— Тоже нет.

— А кто?

— Исполнитель.

Он усмехнулся. Потом посмотрел на меня внимательно.

— Вы же тоже вычеркнутый, — сказал он. — Я вижу. У вас пусто.

— Да.

— Как вы живёте?

— Привык.

— Я не привык. — Он сказал это тихо. — Я два года жил и не знал, что меня нет. Потом мама сказала моё имя, и я вспомнил. Всё сразу. Как будто включили свет.

— Это опасно.

— Это больно, — сказал он. — Но это лучше, чем темнота.

Я прочитал формулу. Он закрыл глаза сам. Когда я закончил, он сидел неподвижно. Потом открыл глаза и посмотрел на телефон.

— Кто это? — спросил он.

— Никто.

— Красивая женщина.

— Да.

— Почему у меня её фотография?

— Не знаю.

Он взял телефон, посмотрел на экран ещё раз, потом убрал в карман. Встал. Покачнулся.

— Мне куда? — спросил он.

— В комнату. Вам покажут.

— А работа?

— Работы больше нет.

— Понятно. — Он пошёл к двери. У порога обернулся.

— А вы меня помните?

— Помню.

— Как меня зовут?

— Рустам.

Он улыбнулся. Впервые за разговор — по-настоящему.

— Спасибо, — сказал он. — Вы первый, кто сказал.

Дверь закрылась. Я сидел и смотрел на акт. В графе «основание» было написано: «повторное изъятие». Ниже, мелким шрифтом: «При повторном изъятии допускается сокращённая формула». Я всегда читаю полную. Не знаю зачем. Может быть, из упрямства. Может быть, из милосердия.

* * *

Четвёртого не было. В расписании стоял прочерк. Такое бывает раз в месяц: день без очереди. Я сидел в общем зале и разбирал бумаги. Пономари работали молча. В зале было слышно, как открываются и закрываются ящики, — звук,

похожий на дождь.

В половине пятого ко мне подошла Маргарита Львовна Кислова. Ей было пятьдесят шесть. Она носила серый костюм и брошь в виде стрекозы. Она была старшим исполнителем и учила меня двадцать два года назад. Я не помнил, как она выглядела тогда. Я вообще не помню лиц, которые вижу каждый день.

— Тихонов, — сказала она. — Ты сегодня медленный.

— Я всегда медленный.

— Нет. Ты всегда точный. Сегодня ты медленный. — Она положила на стол папку. — Это плохо.

— Почему?

— Потому что точность — это скорость без ошибок. А медленность — это ошибки, которые ты ещё не сделал.

Она сказала это без злобы. Она вообще не умела злиться. Она умела только проверять.

— Ты читал приказ по мальчику?

— Читал.

— Когда начнёшь?

— Не знаю.

— У тебя девять дней. — Она посмотрела на меня. — Ты понимаешь, что будет, если ты не начнёшь?

— Понимаю.

— Нет. Не понимаешь. — Она села напротив. — Тебя не вычеркнут. Тебя сотрут. Это разные процедуры. При вычеркивании человек остаётся. При стирании — нет.

— Я знаю.

— Тогда почему ты медленный?

— Я думаю.

— О чём?

— О мальчике.

— Это не твоя работа.

— Я знаю.

Она помолчала. Потом достала из кармана конфету и положила передо мной. Карамель, в прозрачной обёртке. Такие дают детям в поликлинике.

— Я тебя вычёркивала, — сказала она.

Я посмотрел на неё.

— В две тысячи четвёртом. Я читала формулу. Ты сидел на этом же стуле. Ты был в форме. У тебя были грязные руки.

— Я не помню.

— Конечно, не помнишь. — Она усмехнулась. — Ты не должен. Но я помню. Я помню всех, кого вычеркнула. Это моя особенность. Начальство считает это недостатком.

— Сколько их?

— Тысяча двести сорок один.

Она сказала это ровно, как называют номер дома.

— И вы всех помните?

— Всех. — Она посмотрела на конфету. — Поэтому я не ем сладкое. Оно мешает.

— Чему?

— Счёту.

Она встала. Поправила брошь.

— Тихонов. Я не буду тебя торопить. Но я буду тебя про-
верять. Каждый день. Потому что если ты сорвёшься, отве-
чать буду я.

— Понимаю.

— Не понимаешь. — Она пошла к двери. У порога обер-
нулась. — И ещё. Если ты решишь его не вычёркивать —
не говори мне. Я не хочу знать. Я хочу, чтобы у меня был
чистый акт.

Она вышла. Я посмотрел на конфету. Потом развернул и
съел. Карамель была твёрдая, с кислинкой. Я не ел сладкого
двадцать два года. Не из принципа. Просто не думал об этом.

В шесть принтер в углу зала зажужжал и выплюнул лист.
Я подошёл и взял. Это было расписание на завтра. Четыре
имени. Три основания «щель». Одно — «индекс».

«Ветров Кирилл Павлович. 9 лет. Индекс. Прогноз откры-
тия: 8 суток».

Бумага была тёплая. Я сложил её вдвое и убрал в карман.
Потом вернулся к столу и стал ждать утра.

Интерлюдия. Дело № 0417

*ДЕЛО № 0417 Тихонов Аркадий Сергеевич, 1987
г. р. Основание: применение оружия без приказа.
Решение: изъятие с сохранением телесной памяти.
Исполнитель: Кислова М. Л. Свидетель: Балашов В.
И. Дата: 14 февраля 2004 года. Примечание: дело не
подлежит восстановлению.*

Ночь была ясная и злая. Мороз стоял такой, что снег под ботинками не скрипел, а визжал, как несмазанное колесо.

Аркадий стоял на посту у второго шлагбаума. Ему было семнадцать. Он был в караульной форме, которая ему шла, и в шапке, которая ему не шла. Автомат висел на плече. В кармане лежал пропуск с его фамилией, напечатанной на машинке. Фамилия была короткая, три слога. Он тогда ещё не знал, что это роскошь.

Объект был неинтересный: забор, ангар, столовая, будка. За ангаром начинался лес. В лесу стояла тишина, густая, как вата. Аркадий не любил лес. В городе он всегда знал, откуда идёт звук. В лесу звук мог прийти с любой стороны.

В четыре утра на дороге показались фары. Машина шла медленно, без света по правилам — только габариты. Чёрная «Волга». Номера грязные, так что не разобрать.

Аркадий поднял руку. Машина не остановилась. Она не мчалась. Она просто ехала — ровно, уверенно, как будто

шлагбаум был не для неё. Он поднял руку выше. Потом крикнул. Потом снял автомат с плеча.

Устав он знал. Насчёт «не пропускать машины без проверки» — знал. Насчёт того, что делать, если не останавливаются, — тоже знал. Там было написано: «предупредительный выстрел вверх». Он сделал предупредительный. Ему казалось, что вверх.

Он не помнил выстрела. Помнил звук — короткий, сухой, как хлопок ладонью по столу. Помнил, как машина вильнула и остановилась. Помнил, как из неё вышел водитель, молодой мужчина в расстёгнутом пальто, и сказал не «ты что делаешь», а «там ребёнок».

Аркадий подошёл. Задняя дверь была приоткрыта. На сиденье лежала девочка. Восемь лет. В красных ботинках. Один ботинок свалился и лежал на коврике, носком к двери. Она была уже не здесь. Он это понял не по крови — крови почти не было, — а по тому, как её рука лежала на сиденье. Так лежит рука, когда её положили, а не когда она сама легла.

На её запястье были часы. Маленькие, с красным ремешком, с циферблатом величиной с пятак. Стрелки стояли на четырёх семнадцати. Стекло было поцарапано.

Он не помнил, как снял их. Помнил, что снял. Помнил, что ремешок был холодный. Помнил, что подумал: «Надо отдать». И не отдал.

Водитель не кричал. Он обошёл машину, открыл заднюю дверь и опустился на колени в снег. Взял девочку за руку.

Потом позвал её по имени. Один раз. Тихо, как будто боялся разбудить. Потом ещё раз, громче. Потом замолчал.

Он поднял голову и посмотрел на Аркадия. У него было лицо человека, который ещё не понял, что случилось, но уже знает, что жизнь кончилась.

— Кто стрелял? — спросил он.

— Я.

Водитель посмотрел на автомат. Потом на свои руки. Потом опять на Аркадия. Он не встал. Он сидел в снегу и держал руку девочки.

— Она спала, — сказал он. — Она всегда спит в машине. Ей утром в школу.

Аркадий не помнил, что ответил. Может быть, ничего. Может быть, сказал: «Простите». В его памяти эти слова не сохранились. Сохранилось только, как снег скрипел под коленями водителя и как где-то за ангаром лаяла собака. Собака лаяла долго. Потом перестала.

Прибежал второй часовой, молодой, с расстёгнутым воротником. Он увидел машину, увидел девочку и остановился. Потом начал говорить по рации. Слова были служебные: «второй шлагбаум», «пострадавший», «скорую». Аркадий слышал их как из-под воды.

Через двадцать минут приехала «скорая». Врач долго не выходил. Потом вышел и сказал водителю:

— Мужчина, отойдите.

Водитель не отошёл. Врач взял его за плечо. Водитель по-

смотрел на него и сказал:

— Это моя дочь.

— Я знаю, — сказал врач.

И это было хуже всего. Он знал.

Через минуту прибежали остальные. Через пять минут его увели. Через час он сидел в комнате без окон, с лампой на столе, и человек в штатском спрашивал, кто дал приказ стрелять. Аркадий говорил: «Никто». Человек записывал. Потом сказал:

— Это хорошо, что никто.

* * *

На следующий день Аркадия вызвали в комендатуру. В коридоре на стуле сидел отец девочки. В том же пальто, с шапкой в руках. Он не смотрел на Аркадия. Может быть, не узнал. Может быть, узнал и не захотел.

Из кабинета вышла женщина в сером костюме, с брошью в виде стрекозы. Она посмотрела на обоих и сказала:

— Вы свободны.

Непонятно было, кому. Отец девочки встал и пошёл к выходу. Женщина сказала ему вслед:

— Подождите.

Он остановился. Она открыла папку. Аркадий услышал, как она читает имя. Не его. Отца. Он не запомнил, как звали. Читала она негромко, внятно, как диктуют адрес. Отец девочки стоял и слушал. Потом вышел из здания.

Больше в мире его не было. Его жена, мать девочки, пере-

стала помнить, что была замужем. Через год она вышла замуж снова. Через десять лет у неё родился сын. Она не связывала это ни с чем.

Аркадий узнал об этом позже. Не тогда. Тогда он сидел на стуле в коридоре и ждал, когда его позовут. В коридоре пахло хлоркой и мокрым снегом.

Через неделю пришёл другой человек. Молодой, в сером пальто, с усталыми глазами. Он не спрашивал про приказ. Он спросил:

— Ты хочешь жить?

— Да.

— Тогда слушай. Есть трибунал. Есть забвение. Трибунал — это два года дисбата и клеймо. Забвение — это свобода. Но свобода особого рода.

— Какого?

— Тебя не будет.

Аркадий не понял. Человек объяснил. Он говорил долго, ровно, как читают инструкцию. Потом достал листок и положил на стол.

— Тут твоё имя, — сказал он. — Я его прочитаю. Ты закроешь глаза. Когда откроешь, тебя не будет. Ты будешь помнить. Все остальные — нет.

— Мать?

— Мать забудет.

— Сестра?

— Сестра маленькая. Она, может, и вспомнит. Дети плохо

читают реестр.

Аркадий посмотрел на листок. На нём было написано его имя, аккуратным почерком, с завитком на последней букве. Он подумал: «Это всё, что от меня останется». Потом подумал: «Я убил ребёнка. Я не имею права на имя».

— Согласен, — сказал он.

Человек кивнул. В комнату вошла женщина в сером костюме, с брошью в виде стрекозы. Она была моложе, чем сейчас, но глаза были те же — внимательные, без жалости.

— Закройте глаза, — сказала она.

Он закрыл.

Формулу она читала негромко, внятно, как диктуют адрес. Он слышал каждое слово. В формуле не было ни боли, ни огня. Было только имя. Его имя. Когда она закончила, он открыл глаза.

— Всё? — спросил он.

— Всё, — сказала женщина.

— Я ничего не почувствовал.

— Никто не чувствует.

Человек в сером пальто встал.

— Тебя переведут, — сказал он. — Служба продолжится. Ты будешь работать у нас.

— Кем?

— Тем, кто читает формулу.

Аркадий посмотрел на свои руки. Они были прежние. Пальцы, ногти, ссадина на костяшке. Он сжал их в кулаки и

разжал.

— А девочка? — спросил он.

— Какая девочка?

Он посмотрел на человека. Тот смотрел на него вежливо, без насмешки. В его глазах не было ни знания, ни притворства. Только пустота, как в чистом листе.

— Никакая, — сказал Аркадий.

* * *

Мать открыла дверь через год. Он приехал в мае, когда сошёл снег. Дом был тот же: панельная пятиэтажка, жёлтая краска на лестнице, почтовые ящики с номерами. Он поднялся на третий этаж и позвонил. Дверь открылась сразу, как будто она ждала.

Она была в халате, с полотенцем на плече. Посмотрела на него.

— Вы кто? — спросила она.

— Мама. Это я.

Она нахмурилась. Не испугалась. Просто нахмурилась, как человек, который пытается вспомнить, где оставил ключи.

— У меня был сын, — сказала она. — Он ушёл в армию. Он не вернулся.

— Я вернулся.

— Нет. — Она покачала головой. — Вы не он. У него были другие глаза.

Он стоял на площадке. За его спиной была лестница, вни-

зу — почтовые ящики, наверху — чердак. Он знал этот дом наизусть. Он знал, что на втором этаже пахнет жареной картошкой, а на четвёртом держат кошку. Он знал, что в его комнате на стене висел плакат с поездом. Он всё знал. Его не знал никто.

— Извините, — сказала мать. — Я, наверное, ошиблась. Она закрыла дверь. Тихо, без стука. Он постоял ещё минуту. Потом посмотрел на часы.

Четыре семнадцать.

Он не стал их переводить.

Глава 3. Индекс

«Индекс — не человек. Индекс — это место, через которое человек виден». Из инструкции к реестру. Раздел «Основания».

На следующий день я поехал в школу. Не в Канцелярию, не к Феофану. В школу.

Ночью я не спал. Я лежал в комнате при Канцелярии и слушал, как в трубах шумит вода. На столе лежала папка. В папке — мальчик. Я знал его имя, возраст, адрес, школу, имя матери. Я знал, что его отец вычеркнут в две тысячи восемнадцатом и что мать помнит только пустоту и латунный ключ. Я знал, что мальчик видит ангелов.

Я не знал, как он выглядит, когда молчит.

В четыре семнадцать я встал. Выпил чаю. Побрился. Надел серое пальто, чёрные брюки и ботинки, которые не скрипят. Посмотрел на себя в зеркало. В зеркале был человек, которого не запоминают. Это было удобно. Это было ужасно.

Школа № 1234 стояла в глубине двора, за железной оградой, покрашенной в зелёный цвет. На крыльце курил охранник. Он посмотрел на меня и не спросил, кто я. Люди редко спрашивают. Они видят мужчину в чёрном пальто, с лицом, которое не запоминается, и решают, что я здесь по делу. Обычно они правы.

Я не пошёл внутрь. Я сел на скамейку у спортивной площадки и раскрыл газету. Газета была вчерашняя. Я читал одну и ту же статью про ремонт трамвайных путей три раза.

Во дворе было тихо. Снег лежал серый, с проталинами у забора. На площадке висели качели, мокрые и пустые. Из открытого окна на втором этаже пахло варёной капустой. Я смотрел на окна и считал. Первый класс, второй, третий. На третьем этаже в окне висели бумажные снежинки. Одна была приклеена косо.

В окне на первом этаже шёл урок. Дети сидели за партами, кто-то поднимал руку, кто-то смотрел в телефон под партой. Учительница ходила между рядами и что-то объясняла. На стене висели часы. Круглые, белые, с красной секундной стрелкой. Они шли.

Я смотрел на эти часы дольше, чем нужно. Потом перевёл взгляд на заднюю парту у окна. Там сидел мальчик в светлой футболке. Перед ним лежал лист бумаги. Он не писал. Он рисовал. Я не видел, что именно, но видел, как двигается его рука — быстро, уверенно, как у человека, который делает это каждый день.

Учительница подошла к нему. Что-то сказала. Он кивнул и перевернул лист. Она отошла. Через минуту он снова перевернул его и продолжил рисовать.

Я сидел на скамейке и думал: если я войду сейчас, в куртке и с папкой, урок остановится. Дети замолчат. Учительница спросит, кто я. Я скажу: по делу. Она поверит. Все верят.

Потом я вызову его в коридор, и он пойдёт со мной, потому что взрослым надо верить, пока не научишься не верить.

Я не вошёл. Я достал газету и стал читать про трамвайные пути.

Кирилл вышел из школы в половине второго. Он был в куртке с капюшоном, слишком большой для него, и с рюкзаком, который висел почти до колен. В руке он держал игрушечный поезд. Не такой, как на фотографии. Другой. Метро.

Он не пошёл домой. Он пошёл на площадку, сел в песочницу и стал строить из палочек схему. Я видел такие схемы. Это была карта метро. Только не московского. На его карте были станции, которых нет.

Я подошёл ближе. Он не поднял головы.

— Это какая линия? — спросил я.

Он посмотрел на меня. Потом на схему. Потом опять на меня.

— Никакая, — сказал он. — Это не линия. Это порядок.

— Порядок чего?

— Очереди. — Он показал палочкой на первую станцию.

— Вот тут люди стоят. Тут их спрашивают. Тут они ждут. Тут им ставят печать. А тут они выходят.

— Куда выходят?

— В другое метро. — Он пожал плечами. — Я не знаю, как оно называется. Там нет названий.

— А эти станции как называются?

— «Суд». «Память». «Дверь». «Никто». — Он произнёс

это ровно, без запинки. — И ещё одна. Самая последняя. У неё нет названия, потому что её никто не построил.

— Почему?

— Потому что она не нужна. — Он воткнул палочку в снег. — Пока.

Я смотрел на его схему. Палочки были разной длины. Некоторые лежали отдельно. Одна была сломана.

— Вы стоите здесь второй день, — сказал он.

— Ты меня заметил.

— Вас трудно не заметить. У вас табличка.

— Какая?

— «Аркадий». — Он посмотрел на меня. — То есть «Аркадий, которого нет». А под ним ничего. Как у закрытой станции. Люди думают, что она есть, а поезда не останавливаются.

Я сел на бортик песочницы. Пальто испачкалось, но мне было всё равно.

— А тебя как зовут? — спросил я.

— Кирилл. А вас?

— Аркадий.

— Нет. Это табличка. А имени нет.

Он сказал это без страха. Без интереса. Как говорят: «у вас шнурок развязался». Он не боялся меня. Это было хуже, чем страх.

— Ты видишь имена, — сказал я.

— Ага. У всех. У учительницы — «Вера Петровна», а под

ней — «Вера». У охранника — «дядя Гриша», а под ней — «Григорий». У вас — «Аркадий», а под ней — пусто.

— А у ангелов?

Он оживился. Впервые за разговор.

— У ангелов таблички другие. У них не имена, а должности. Как в метро: «начальник станции», «дежурный по эскалатору». Только длиннее.

— Например?

— «Ангел девятого стола, хранитель неоконченных дел».

— Он сказал это быстро, как скороговорку. — Он сидит за столом, и у него очередь. Люди приходят и говорят: «Я не закончил». А он ставит печать.

— Ты его видел?

— Конечно. Он у нас в школе. В коридоре, у окна. Только он не всегда там. Иногда его нет.

— А ещё?

— «Ангел, который отвечает за очередь». «Ангел, который спит». «Ангел, который забывает». Этот самый вредный.

— Почему вредный?

— Потому что он забывает не по злобе. Он просто устал. У него очень много работы.

Я смотрел на мальчика. Он говорил об ангелах как о сотрудниках метрополитена. Не с благоговением, не с насмешкой. С пониманием. Он произносил их должности так, будто перечислял остановки.

— А вакансию ты видел? — спросил я.

Он перестал строить. Палочка замерла в его руке.

— Видел, — сказал он.

— Какая она?

— Пустая. Как касса, где никого нет. На ней табличка

«Бог». А за стеклом — ничего. Только стул.

— И что ты делаешь, когда её видишь?

— Ничего. Я не подхожу. Мама говорит, не подходи к пустым кассам.

Он сказал это серьёзно. Я не знал, шутит он или нет.

— Кирилл.

— Ага.

— Тебе сколько лет?

— Девять. В мае будет десять.

— Ты знаешь, кто я?

Он посмотрел на меня внимательно. Так смотрят дети, которые привыкли, что взрослые врут, и научились проверять.

— Вы дядя, который вычёркивает, — сказал он.

— Кто тебе сказал?

— Никто. У вас на пальцах чернила. И часы стоят. И вы смотрите на людей, как будто считаете.

— Считаю?

— Сколько их осталось.

Я не нашёл что ответить. В песочнице было тихо. Где-то за домом лаяла собака.

Он посмотрел на мою руку. На маленький циферблат, на

длинный чёрный ремешок.

— Почему у вас часы как у девочки? — спросил он.

— Они не как у девочки.

— Как у девочки. Маленькие. — Он наклонил голову. —

И стоят на четырёх семнадцати.

— Сломались.

— Их надо починить.

— Их нельзя.

— Почему?

— Потому что тогда пойдёт время.

Он подумал. Потом кивнул, как будто это был нормальный ответ.

— Вам приказали меня вычеркнуть, — сказал он. — Вы ещё не решили. Я подожду.

— Не надо ждать.

— Почему?

— Потому что я уже решил.

Он посмотрел на меня. Потом улыбнулся. Улыбка у него была как у матери — я узнал её, хотя видел Марию только на фотографии. Такая улыбка бывает у людей, которые решили не бояться, потому что боятся уже давно.

— Нет, — сказал он. — Не решили.

Он достал из рюкзака листок и протянул мне. На листке были нарисованы часы. Круглый циферблат, две стрелки. Обе стояли на четырёх семнадцати. Под часами была подпись: «Дядя Аркадий. Когда он был».

Я взял листок. Бумага была мягкая, изрисованная с обратной стороны. На обратной стороне был нарисован ангел. Не с крыльями. С толстым портфелем и печатью в руке.

— Это кто? — спросил я.

— Ангел девятого стола, — сказал Кирилл. — Хранитель неоконченных дел. Я его вчера видел. Он стоял у вас за спиной.

Я обернулся. За спиной была пустая площадка, качели и мокрый снег.

— Он всегда там? — спросил я.

— Нет. Только когда вы думаете о мальчике.

— О каком мальчике?

Кирилл посмотрел на меня. В его глазах не было жалости. Только точность.

— О том, которого вы вычеркнули, — сказал он. — Он ваш племянник. Миша.

* * *

Я не помню, как дошёл до метро. Помню, как стоял на платформе «Третьяковской» и смотрел на поезд, который шёл в сторону «Новокузнецкой». Помню, как в вагоне пахло мокрым пальто и жареной курицей. Помню, как женщина рядом со мной ела пирожок и стряхивала крошки на пол.

Я достал телефон. На экране было сообщение от Феофана: «Ты видел мальчика. Что решил?»

Я не ответил. Я открыл галерею и посмотрел на фотографию. Лида. Миша. Лица смазаны.

Миша был маленьким. Он любил поезда. Он называл их «поезда-поезда» и мог час стоять у окна на «Киевской», смотреть, как они приходят и уходят. Он боялся темноты. Он говорил: «Дядя Аркадий, включи свет, а то я не вижу, где я».

Я вычеркнул его в две тысячи девятнадцатом. Ему было десять. Я сделал это сам, своими руками, своим голосом. Я сказал ему: «Закрой глаза». Он закрыл. Я прочитал формулу. Когда он открыл глаза, он посмотрел на меня и сказал: «Дядя Аркадий, а где мама?»

Я сказал: «Она сейчас придёт».

Она не пришла. Она не могла. Она не знала, куда идти.

Я вышел на «Новокузнецкой» и пошёл к школе. Мокрый снег бил в лицо. Я не чувствовал холода.

У школы стояла серая машина. Я узнал её. Такие машины не продаются в салонах. Их выдают.

Я остановился за углом. Из машины вышли двое. Мужчина и женщина. Серые пальто, гладкие лица. Я знал, что у них есть имена, но не мог их вспомнить. Это была их работа.

Они пошли к площадке. Кирилл всё ещё сидел в песочнице. Он поднял голову и посмотрел на них. Потом посмотрел в мою сторону. Он меня видел. Он всегда меня видел.

Я сделал то, чего не делал двадцать два года.

Я вышел из-за угла и пошёл к нему.

— Кирилл, — сказал я. — Пойдём со мной.

Он встал. Отряхнул штаны. Взял рюкзак.

— А вы уверены? — спросил он.

— Нет.

— Хорошо, — сказал он. — Я тоже.

Мы пошли к метро. За нами, не торопясь, шли двое в серых пальто.

На другой стороне улицы, у перехода, стояла женщина в оранжевом жилете. Она смотрела на нас. В руке у неё был телефон. Она не подняла его. Просто стояла и смотрела, как мы уходим.



Мальчик на площадке видит то, чего нет

Глава 4. Отказ

«Пока человек идёт, он ещё не изъят». Из инструкции для пономарей. Пункт 4.

В метро было тепло илюдно. В половине третьего на «Новокузнецкой» всегдалюдно: школьники, курьеры, женщины с сумками, мужчины в наушниках. Я взял Кирилла за руку. Рука была маленькая и горячая. Он не вырывался.

— Нам на «Театральную», — сказал он.

— Откуда ты знаешь?

— У вас лицо человека, который идёт на «Театральную».

— Это как?

— Спокойное. Как будто вы уже решили, а теперь просто едете.

Мы спустились на эскалаторе. Я не оборачивался. Я знал, что они идут. Они всегда идут чуть быстрее, чем нужно, и никогда не бегут. Бег привлекает внимание. А они не любят внимания.

На эскалаторе Кирилл смотрел вниз, на людей, которые стояли на ступенях. Их было много. У каждого было имя. У некоторых — два.

— У той тётки, — сказал он, — имя «Оля», а под ним «Ольга». Это одно и то же?

— Одно.

— А зачем два?

— Одно для дома. Одно для работы.

— А у вас одно.

— У меня ни одного.

Он посмотрел на меня. Потом сказал:

— У вас есть. Только вы его не носите.

На платформе я увидел их в отражении стекла. Двое. Мужчина в сером пальто и женщина в сером пальто. У мужчины было лицо, которое я видел тысячу раз и не мог описать. У женщины — такое же.

Они стояли у колонны. Не смотрели на нас. Женщина что-то говорила мужчине, и он кивал. Я знал эту манеру: они не ищут глазами. Они ждут, когда человек сам пойдёт в нужную сторону. Это дешевле.

— Они нас не видят, — сказал Кирилл.

— Видят.

— Нет. Они видят табличку. А вас под ней нет. — Он подумал. — Меня видят.

— Поэтому ты идёшь рядом.

— Ага.

Поезд пришёл через минуту. Мы вошли в средний вагон. Я встал у двери, Кирилл — рядом. Люди вокруг пахли мокрым снегом и кофе.

Женщина с коляской вошла следом. Коляска зацепилась за порог. Я придержал дверь. Она сказала: «Спасибо». Пономари вошли в соседний вагон. В отражении стекла я ви-

дел, как женщина в сером пальто сняла перчатку и посмотрела на часы. На её запястье были часы с белым циферблатом. Обычные. Они шли.

— Они в следующем, — сказал Кирилл.

— Ты их видишь?

— Я вижу их таблички. У них написано «пономарь». И ещё номер. Как у вагонов.

— Не смотри на них.

— Я не смотрю. Я вижу.

Поезд шёл медленно. На «Третьяковской» в вагон вошла женщина с коляской. Коляска была большая, синяя, с пакетом на ручке. Женщина устало поставила её у двери. Кирилл уступил место. Она сказала: «Спасибо, маленький». Он сказал: «Пожалуйста». Я смотрел на него и думал, что он делает это не из вежливости. Он просто знал, что так надо.

На «Театральной» мы вышли. Переход на «Охотный Ряд» — длинный, с поворотами и лестницами. Я шёл быстро, но не бежал. Кирилл успевал. Он был маленький, но ловкий. На нём была куртка не по размеру, и рукава закрывали пальцы. Он держал меня за рукав, а не за руку. Так было удобнее.

На середине перехода я почувствовал руку на плече. Тяжёлую, сухую. Я обернулся.

Мужчина в сером пальто смотрел на меня. Его лицо было близко. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, и остановился.

— Аркадий, — сказал он.

— Да.

Он нахмурился. Я видел, как в его глазах гаснет смысл. Он знал моё имя. Он не знал, зачем оно ему.

— Вы что-то хотели? — спросил я.

— Нет, — сказал он. — Извините.

Рука соскользнула с плеча. Он стоял в переходе, смотрел мне вслед и не мог вспомнить, кого искал. Второй пономарь ждал его у стены. Женщина смотрела на него с недоумением.

Мы пошли дальше. Кирилл не оглядывался.

— Они вас не помнят, — сказал он.

— Не помнят.

— Это удобно.

— Не очень.

— Почему?

— Потому что они не помнят и того, что я им сделал.

Он подумал. Потом сказал:

— Это как если бы у вас не было долгов.

— Хуже.

— Почему?

— Потому что долги остаются. Просто их не с кого спросить.

Он не ответил. Мы поднялись по лестнице. В переходе играл скрипач. Он играл что-то медленное, без названия. У футляра лежали две монеты и бумажный стаканчик. Я достал из кармана мелочь и бросил. Скрипач кивнул, не переставая играть.

Наверху былолюдно. Люди шли навстречу, обгоняли,

останавливались. Я считал выходы. Их было четыре. Камеры — две, у эскалаторов. Между нами и выходом стоял мужчина в сером пальто. Второй. Женщина шла сзади.

— Не беги, — сказал я Кириллу. — Иди ровно.

Кирилл сжал мою руку. Ладонь у него вспотела.

Мужчина в сером пальто посмотрел на него. Не на меня. На мальчика. Он сделал шаг. Потом у него зазвонил телефон. Он достал его, посмотрел на экран и ответил. Голос у него был ровный, вежливый.

— Да. Нет. Он не в списке.

Он говорил ещё несколько секунд. Потом убрал телефон и посмотрел по сторонам. Кирилла уже не было за спиной у женщины с коляской. Мы прошли в двух шагах, за колонной. Он не увидел.

Зато увидел другого. Мужчина в чёрном пуховике, с пакетом, шёл к эскалатору. Пономарь взял его за плечо. Мужчина обернулся.

— Вы что?

— Извините, — сказал пономарь. — Я обознался.

— Вы обознались? Вы меня за руку схватили.

— Извините.

Мужчина что-то сказал ещё, громче. Пономарь стоял и смотрел на него с вежливым недоумением. Женщина в сером пальто подошла и взяла его за локоть. Они пошли к выходу. Мужчина с пакетом смотрел им вслед и качал головой.

— Они ошиблись, — сказал Кирилл.

— Они не ошиблись. Они просто не помнят, кого ищут.

— Это страшно.

— Да.

— Не для нас.

— Для них.

Мы сели в поезд. Я посмотрел на часы. Они стояли. В переходе, у эскалатора, висели электронные часы. На них было 14:52. Я запомнил. Я всегда запоминаю время, когда что-то начинается. Это привычка. Это уже не помогает.

На «Охотном Ряду» мы сели в поезд до «Кропоткинской». Вагон был полупустой. Я сел на скамью, Кирилл — напротив. Он смотрел в окно, на чёрную стену тоннеля, и улыбался.

— Я люблю метро, — сказал он.

— Я знаю.

— Откуда?

— У тебя рюкзак с поездом.

Он посмотрел на рюкзак. Потом на меня.

— Вы не такой, как они, — сказал он.

— Как кто?

— Как пономари. Они думают, что делают работу. Вы думаете, что делаете грех.

— Это одно и то же?

— Нет, — сказал он. — Работу можно закончить.

Поезд выехал на «Кропоткинскую». Станция была светлая, с мраморными колоннами. На платформе стояла жен-

щина в оранжевом жилете. В руке у неё был фонарь. Она смотрела прямо на нас.

Мария.

Я узнал её по фотографии, которую видел в деле. Но фотография была хуже. На фотографии она была усталой. В жизни она была злой.

— Вы опоздали на две минуты, — сказала она.

— Мы ехали.

— Я видела. — Она посмотрела на Кирилла. — Ты цел?

— Цел, — сказал он. — Мам, это дядя Аркадий. Он меня забрал.

— Я знаю, кто он.

Она взяла Кирилла за руку. Потом посмотрела на меня. Глаза у неё были серые, как у Веры Слепцовой, только мягче и жёстче.

— За мной, — сказала она. — Быстро.

Она повела нас к служебной двери в конце платформы. Ключ у неё был на шнурке, вместе с пропуском. Дверь открылась в узкий коридор. Пахло железом и пылью.

— Это служебный ход, — сказал Кирилл. — Я про такой читал.

— Не ори, — сказала Мария.

— Я не ору. Я говорю.

— Говори тише.

Мы шли по коридору, мимо труб и кабелей. Где-то за стеной прошёл поезд. Воздух дрогнул. Кирилл схватился за

мою руку.

— Страшно? — спросил я.

— Нет, — сказал он. — Интересно.

— Врёшь.

— Вру, — согласился он.

Мария остановилась у металлической лестницы.

— Наверх, — сказала она. — Там двор. Дальше на такси.

— У меня нет денег, — сказал я.

— У меня есть.

Мы поднялись. Дверь вывела нас в маленький двор за храмом Христа Спасителя. Шёл снег. На улице было темно, хотя было только начало четвёртого.

Мария выглянула за угол. Потом отступила.

— Плохо, — сказала она.

— Что?

— Такси не будет. — Она показала подбородком. — У выезда стоят.

Я посмотрел. У выезда из двора стояла серая машина. Не та, что была у школы. Другая. Но такие же бывают только у одного ведомства.

— Они перекрыли улицу, — сказала Мария. — Не всю. Только выезд.

— Пешком?

— Пешком нельзя. Тут камеры. — Она посмотрела наверх. — Есть другой путь.

— Какой?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.